

ГЛАВА I

1864 и 1854 годы. Вместо введения

Летом 1866 года совершилось событие огромной исторической важности. Германия, раздробленная в течение столетий, начала сплачиваться, под руководством гениального прусского министра, в одно сильное целое. Европейское status quo, очевидно, нарушено, и нарушение это, конечно, не остановится на том, чему мы были недавними свидетелями. Хитро устроенная политическая машина, ход которой был так тщательно уравновешен, оказалась расстроившеюся. Всем известно, что события 1866 года были только естественным последствием происшествий 1864 года. Тогда, собственно, произошло расстройство политико-дипломатической машины, хотя оно и не обратило на себя в должной мере внимания приставленных для надзора за нею механиков. Как ни важны, однако же, оказались последствия австро-пруссско-датской войны 1864 года, я совсем не на эту сторону ее желаю обратить внимание читателей.

В оба года, которыми я озаглавил эту главу, на расстоянии десяти лет друг от друга произошло два события, заключающие в себе чрезвычайно много поучительного для каждого русского, хотящегоо и умеющего взглядываться в смысл и значение совершающегося вокруг него. Представленных в самом сжатом виде, события эти состояли в следующем. В 1864 году Пруссия и Австрия, два первоклассные государства, имевшие в совокупности около 60 000 000 жителей и могущие располагать чуть ли не миллионною армиею, нападают на Данию, одно из самых маленьких государств Европы, населен-

ное двумя с половиною миллионами жителей, не более, — государство невоинственное, просвещенное, либеральное и гуманное в высшей степени. Они отнимают у этого государства две области с двумя пятыми общего числа его подданных — две области, неразрывная связь которых с этим государством была утверждена не далее тринадцати лет тому назад Лондонским трактатом, подписанным в числе прочих держав и обеими нападающими державами. И это прямое нарушение договора, эта обида слабого сильным не возбуждают ничего противодействия. Ни оскорбление нравственного чувства, ни нарушение так называемого политического равновесия не возбуждают негодования Европы, ни ее общественного мнения, ни ее правительств, — по крайней мере, не возбуждают настолько, чтобы от слов заставить перейти к делу, — и раздел Дании спокойно совершается. Вот что было в 1864 году.

Одиннадцать лет перед этим Россия, государство, также причисляемое к политической системе европейских государств, правда очень большое и могущественное, оскорбляется в самых священных своих интересах (в интересах религиозных) Турцией — государством варварским, завоевательным, которое хотя уже и ослаблено, но все еще одним только насилием поддерживает свое незаконное и несправедливое господство, государством, тогда еще не включенным в политическую систему Европы, целость которого поэтому не была обеспечена никаким положительным трактатом. На эту целость никто, впрочем, и не посягает. От Турции требуется только, чтобы она ясно и положительно подтвердила обязательство не нарушать религиозных интересов большинства своих же собственных подданных, — обязательство не новое какое-либо, а уже восемьдесят лет тому назад торжественно данное в Кучук-Кайнарджийском мирном договоре. И что же! Это справедливое требование, какковым признало его дипломатическое собрание перво-

степенных государств Европы, религиозные и другие интересы миллионов христиан ставятся ни во что; варварское же государство превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации и свободы. В 1854 году, как раз за десять лет до раздела Дании, до которого никому не было дела, Англия и Франция объявляют войну России, в войну вовлекается Сардиния, Австрия принимает угрожающее положение, и, наконец, вся Европа грозит войною, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действуют правительства Европы; общественное же ее мнение еще более враждебно и стремится увлечь за собою даже те правительства, которые, как прусское и некоторые другие германские, по разного рода побуждениям не желали бы разрыва с Россией. Откуда же это равнодушие к гуманной, либеральной Дании и эта симпатия к варварской, деспотической Турции, эта снисходительность даже к несправедливым притязаниям Австрии с Пруссией и это совершенное неуважение к самым законным требованиям России? Дело стоит того, чтобы в него вникнуть. Это не какая-нибудь случайность, не журнальная выходка, не задор какой-нибудь партии, а коллективное дипломатическое действие всей Европы, то есть такое обнаружение общего настроения, которое менее всякого другого подвержено влиянию страсти, необдуманного мгновенного увлечения. Поэтому и выбрал я его за исходную точку предлагаемого исследования взаимных отношений Европы и России.

Прежде всего посмотрим, нет ли в отношениях Дании к Пруссии и Австрии какого-нибудь дерзкого вызова, словом, чего-нибудь извиняющего в глазах Европы это угнетение слабого сильным и, напротив того, в действиях России чего-либо оскорбившего Европу, вызвавшего ее справедливые гнев и негодование?

Мы не будем вникать в подробности шлезвиг-гольштейнского спора между Германией и Данией, тянув-

шегося, как известно, целых семнадцать лет и, я думаю, малоинтересного для русских читателей. Сущность дела в том, что Дания установила общую конституцию для всех своих составных частей — одну из самых либеральных конституций в Европе, при которой, конечно, и речи не могло быть о каком-либо угнетении одной национальности другою. Но не того хотелось Германии: она требовала для Гольштейна конституции хотя бы и гораздо худшей, но зато такой, которая совершенно разрознила бы эту страну с прочими частями монархии, требовала даже не личного соединения, наподобие Швеции с Норвегией (это бы еще ничего), а какого-то примененного к целой государственной области права, вроде польского *не позволям*, пользуясь которым чины Гольштейна могли бы уничтожать действительность всякого постановления, принятого для целой Дании. Но Гольштейн принадлежал к Германскому союзу, следовательно этим путем достигалось бы косвенным образом господство союза над всею Датскою монархией. Это господство он считал для себя необходимым по тому соображению, что, кроме Гольштейна, в дела которого Германский союз имел право некоторого вмешательства, в состав Датского государства входил еще и Шлезвиг, страна по трактатам совершенно чуждая Германии, но населенная в значительной части немцами, которые ее мало-помалу колонизировали и из скандинавской обратили в чисто немецкую. В глазах всех немцев, сколько-нибудь интересовавшихся политикой, Шлезвиг составлял нераздельное целое с Гольштейном; но такой взгляд не имел ни малейшей поддержки в основанном на положительных трактатах международном праве. Чтобы провести его на деле, необходимо было употребить Гольштейн как рычаг для непрерывного давления на всю Данию. При этом средстве датское правительство могло бы провести в Шлезвиге те лишь только меры, которые были бы угодны Германии. Дания, очевидно, не

могла на это согласиться, и патриотическая партия (так называемых эйдерских датчан) готова была совершенно отказаться от Гольштейна, лишь бы только единство, целостность и независимость остальной части монархии не нарушались непрерывно чужеземным вмешательством. О тяжести такого вмешательства мы можем себе составить легкое понятие по собственному опыту. Вмешательство, основанное на придирчивых толкованиях некоторых статей Венского трактата, привело в негодование всю Россию. Хорошо, что негодование России, будучи так полновесно, перетягивает на весах политики много дипломатических и иного рода соображений; но кто же обращает внимание на негодование Дании? К тому же у Дании руки были в самом деле связаны трактатом, не дававшим ей полной свободы распоряжаться формой правления, которую ей хотелось бы дать Гольштейну. Об истинном смысле этого трактата шли между Данией и Германским союзом бесконечные словопрения. Каждая сторона толкует, конечно, дело в свою пользу; наконец, и Германский союз, не отличавшийся-таки быстротою действия, теряет терпение и назначает экзекуцию в Гольштейн. Гольштейн принадлежит к Германскому союзу, и против такой меры нельзя еще пока ничего возразить. Но известное дело, что Германский союз, хотя узами его и было связано до пятидесяти миллионов народа, не внушал никому слишком большого уважения и страха — ни даже крохотной Дании, которая, несмотря на союзную экзекуцию, преспокойно продолжает свое дело. Пруссия (или, точнее, г. Бисмарк), однако же, видит, что для нее, во всяком случае, это дело ничем хорошим кончиться не может. Возьмет верх Дания — пропали все планы на Кильскую бухту, флот, господство в Балтийском море, на гегемонию в Германии, одним словом, пропали все немецкие интересы, которых Пруссия себя считала и считает, и притом совершенно справедливо, главным, чуть ли не единствен-

ным представителем. Восторжествует Германский союз — Гольштейн один, или вместе с Шлезвигом, обратится в самостоятельное государство, которое усилит собою в союзе партию средних и мелких государств, что, как весьма справедливо думает г. Бисмарк, только повредит прусской гегемонии. Надо и союзу не дать усилиться, надо и Гольштейн с Шлезвигом прибрать к своим рукам, чтобы общегерманское, а с ним вместе и частнопрусское дело должным образом процвели. Следуя этим совершенно верным (с прусской точки зрения) соображениям, обеспечившись союзом с Австрией, которой во всем этом деле приходится своими руками для Пруссии жар загребать, г. Бисмарк вступает за недостаточно уважаемый и оскорбленный Данией Германский союз и требует уничтожения утвержденной палатами, общей для всей монархии конституции — хотя и в высшей степени либеральной, но вовсе не соответствующей ни общим видам Германии, ни частным видам Пруссии, — угрожая в противном случае войною. Дания с формальной стороны не была совершенно права, ибо — не будучи в состоянии исполнить невозможного для нее трактата или, по крайней мере, исполнить его в том смысле, в каком понимала его Германия, — она решилась рассечь гордиев узел этою общей для всей монархии конституцией, которая, удовлетворяя, в сущности, всем законным требованиям как Гольштейна, так и Шлезвига, устраняла, однако, совершенно вмешательство союза в дела этого последнего и делала его излишним для первого. Не будучи, таким образом, правою с формальной стороны, Дания, угрожаемая войной с двумя первоклассными государствами, легко могла уступить столь положительно выраженному требованию. Таковую уступчивость необходимо было во что бы то ни стало предупредить. Средство к тому было найдено очень легкое. Для исполнения своего требования Пруссия и Австрия назначили столь короткий срок, что в течение его датское правительство

не имело времени созвать палаты и предложить на их обсуждение требование этих держав. Таким образом, датское правительство было поставлено в необходимость или отвергнуть требования иностранных держав и навлечь на себя неравную войну, или нарушить конституцию своего государства; нарушить же конституцию при тогдашнем положении дел — при только что вступившем на престол и не успевшем еще на нем утвердиться государе, непопулярном по причине его немецкого происхождения, — значило бы, по всей вероятности, вызвать революцию. Датскому правительству ничего не оставалось, как избирать из двух зол меньшее. Оно и выбрало войну, имея, по-видимому, достаточные основания считать ее за зло меньшее. Во-первых, Дания уже вела подобную войну и с Пруссией, и с Германией не далее как 15 лет тому назад и вышла из нее скорее победительницей, чем побежденной; она могла, следовательно, рассчитывать на подобный же исход и в этот раз. Соображение весьма хорошее — только при нем не было принято в расчет, что в тогдашней Германии существовал бестолковый франкфуртский парламент, а в тогдашней Пруссии не было Бисмарка. Кроме того, датское правительство могло надеяться, что политическая система государств, основанная на положительных трактатах, не пустое только слово; что после того, как Европа около ста лет не переставала кричать о великом преступлении раздела Польши, она не допустит раздела Дании; что примет же она во внимание приставленный к ее горлу нож и, по крайней мере, потребует от нападающих на нее государств, чтобы они дали ей время опомниться. Во всем этом она ошиблась. Война началась. Не приготовленные к ней датчане, конечно, понесли поражение. Чтобы положить конец этой невозможной борьбе, собралась в Лондоне конференция европейских государств. Нейтральные державы предложили сделку, при которой приняли во внимание победы, одержанные

Пруссией и Австрией, но эта сделка не удовлетворила союзников; они продолжали настаивать на своем, и Европа, ограничив этим свое заступничество, предоставила им разделяться с Данией, как сами знают. Итак, если и можно считать Данию не совершенно правую с формальной стороны, то эта неправда была с избытком заглажена поступком Пруссии и Австрии, не только не давших Дании возможности отступить от принятой ею слишком решительной меры, но воспользовавшихся этим только как предлогом для исполнения задуманной цели: отторжения от нее не только Гольштейна, но и нераздельного с ним, по их понятиям, Шлезвига. Дипломатические обычаи — почитающиеся охраною международного права, так же как юридические формы почитаются охраною права гражданского и уголовного, — были нарушены, и нарушителем их была не Дания, а Пруссия с Австрией. Следовательно, эти два государства, а не Дания, оскорбили Европу.

Но иногда незаконность, то есть формальная, внешняя несправедливость, прикрывает собою такую внутреннюю правду, что всякое беспристрастное чувство и мнение принимают сторону мнимой несправедливости. Было ли, например, когда-либо совершено более дерзкое, более прямое нарушение формального народного права, чем при образовании Кавуром и Гарибальди Итальянского королевства? Поступки правительства Виктора Эммануила с Папскою областью и Неаполитанским королевством никаким образом не могут быть оправданы с легальной точки зрения; и, однако же, всякий, не потерявший живого человеческого чувства и смысла, согласится, что в этом случае форма должна была уступить сущности, внешняя легальность — внутренней правде. Не таково ли и шлезвиг-гольштейнское дело, не подходило ли и оно под категорию дел формально несправедливых, но оправдываемых скрытою под этой оболочкой внутреннею правдой, и не эта ли внутренняя правда обезоружила Европу? И на это придется отвечать отрица-

тельно. Во-первых, национальное дело, имеющее своим защитником Австрию, может возбуждать только горький смех и негодование. Во-вторых, принцип национальностей пока еще не признается, по крайней мере официально, Европою и, без разного рода побочных соображений, сам по себе ничего не оправдывает в глазах ее. Даже справедливое дело Италии восторжествовало лишь в силу взаимных отношений между главнейшими государствами, так расположившихся, что на этот раз дело легальности не нашло себе защитников. В самом общественном мнении начало национальностей распространено лишь во Франции и в Италии, и то потому только, что эти страны считают его для себя выгодным. В-третьих, наконец, и это главное: принцип национальностей неприменим вполне к шлезвиг-гольштейнскому делу. Немецкий народ в 1864 году не составлял одного целого; он не имел политической национальности, и, пока она не образовалась, во имя чего он мог требовать отделения Гольштейна и Шлезвига от Дании, не требуя в то же время уничтожения Баварии, Саксонии, Липпе-Детмольда, Саксен-Альтенбурга и т. п. как самостоятельных политических единиц? Правда, между разными немецкими государствами существовала слабая политическая связь, именовавшаяся Германским союзом; но точно таким же членом союза, как Бавария и Пруссия, Липпе и Альтенбург, был и Гольштейн. Шлезвиг, конечно, не принадлежал к союзу; но если и не обращать внимания на то, что эта датская область была только колонизирована немцами, и придерживаться исключительно принципа этнографического, совершенно отвергая историческое право, то и с этой точки зрения крайним пределом немецких требований все-таки могло быть только присоединение Шлезвига к Германскому союзу, а не совершенное отделение и Гольштейна, и Шлезвига от Дании. (...) Если, следовательно, немецкий народ не составлял политической национальности, если значительная доля его была соединена под одним управлением

с другими национальностями, то он мог справедливо требовать от Дании только того, чтобы немецкая национальность не угнеталась в Гольштейне и Шлезвиге, а пользовалась равноправностью с датской; но этого и требовать было нечего, это исполнялось и без всяких требований.

Представим себе, что первоначальный план Наполеона III относительно Италии осуществился бы. Она составляла бы — наподобие Германского — Итальянский союз, в состав которого входило бы и Венецианское королевство, оставаясь, однако же, в соединении с Австрией. На каких основаниях мог бы тогда король Сардинский в союзе с королем Неаполитанским требовать от Австрии отделения Венеции, если бы итальянская национальность в ней ничем не угнеталась и вообще права венецианцев не нарушались бы? Такое положение дел итальянцы могли бы считать — и совершенно основательно — весьма неудовлетворительным. Но главную причину неудовлетворительности была бы не принадлежность Венеции Австрии, а раздельность итальянских государств при единой итальянской народности; и, только сплетясь сама в одно политическое целое, имела бы эта народность если не формальное, на трактатах основанное, то прирожденное естественное право требовать своего дополнения от Австрии. Подобного права нельзя отрицать и у Германии, но прежде надлежало бы ей соединиться в одно политическое немецкое целое, отделив от себя все не немецкое, требующее самостоятельной национальной жизни, а тогда уже требовать своего и от других. Наконец, с национальной точки зрения восстановления нарушенного германского национального права мог, во всяком случае, требовать только Германский союз, как это и было вначале, а он был, очевидно, оттеснен далее чем на задний план после того, как все здесь приняли в свои руки Пруссия и Австрия.

Впрочем, так ли это или не так, дело, собственно, идет тут вовсе не о том, чтобы неопровержимо дока-

зять существенную несправедливость поступка Пруссии и Австрии с Данией; мы хотим лишь показать, что в глазах Европы внутренняя правда шлезвиг-гольштейнского дела не могла оправдать его нелегальности. Для нас важно не то, каково это дело само в себе, но то, каким оно представлялось глазам Европы; а едва ли кто решится утверждать, что оно пользовалось симпатией европейских правительств и европейского (за исключением германского, конечно) общественного мнения. Во мнении Европы, к нарушениям формы международных отношений присоединялась здесь и неосновательность самой сущности прусско-австрийско-немецких притязаний. Почему же, спрашивается, не вооружили эти притязания против себя Европы? Очевидно, что не виновность Дании и не внешняя или внутренняя правота Пруссии и Австрии были тому причиной. Надо поискать иного объяснения.

Но прежде обратимся за десять или одиннадцать лет назад к более для нас интересному восточному вопросу.

По требованию Наполеона III, выгоды которого представляли льстить католическому духовенству, турецкое правительство нарушило давнишние исконные права православной церкви в святых местах. Это нарушение выразилось главнейше в том, что ключ от главных дверей Вифлеемского храма должен был перейти к католикам. Ключ сам по себе, конечно, вещь ничтожная, но большею частью вещи ценятся не по их действительному достоинству, а по той идее, которую с ними соединяют. Какую действительную цену имеет кусок шелковой материи, навязанный на деревянный шест? Но этот кусок шелковой материи на деревянном шесте называется знаменем, и десятки, сотни людей жертвуют жизнью, чтобы сохранить знамя или вырвать его из рук неприятеля. Это потому, что знамя есть символ, с которым неразрывно соединена, во мнении солдат, военная честь полка.

Подобное же значение имел и Вифлеемский ключ. В глазах всех христиан Востока с этим ключом было со-

единено понятие о первенстве той церкви, которая им обладает. Очевидно, что для магометанского правительства Турции, совершенно беспристрастного в вопросе о преимуществе того или другого христианского вероисповедания, удовлетворение желаним большинства его подданных, принадлежащих к православной церкви, должно было быть единственною путеводною нитью в решении подобных спорных вопросов. Невозможно представить себе, чтобы какое-либо правительство, личные выгоды, мнения или предрассудки которого нисколько не затронуты в каком-либо деле, решило его в интересах не большинства, а незначительного меньшинства своих подданных, и притом вопреки исконному обычаю, и тем, без всякой нужды, возбудило неудовольствие в миллионах людей. Для такого образа действий необходимо предположить какую-либо особую побудительную причину. Страх перед насильственными требованиями Франции тут ничего не объясняет, потому что Турции не могло не быть известно, что от нападения Франции она всегда нашла бы поддержку и защиту в России, а вероятно, также в Англии и в других государствах Европы, как это было в 1840 году. Очевидно, что эта уступка требованиям Франции была для Турции желанным предлогом нанести оскорбление России. Религиозные интересы миллионов ее подданных нарушались потому, что эти миллионы имели несчастье принадлежать к той же церкви, к которой принадлежит и русский народ.

Могла ли Россия не вступить за них, могло ли русское правительство — не нарушив всех своих обязанностей, не оскорбив религиозного чувства своего народа, не отказавшись постыдным образом от покровительства, которое оно оказывало восточным христианам в течение столетий, — дозволить возникнуть и утвердиться мысли, что единство веры с русским народом есть печать отвержения для христиан Востока, причина гонений и притеснений, от которых Россия бессильна их изба-

вить; что действительное покровительство можно найти только у западных государств, и преимущественно у Франции? Кроме этого, для всякого беспристрастного человека ясно, что самое требование Франции было не что иное, как вызов, сделанный России, не принять которого не позволяли честь и достоинство. Этот спор о ключе, который многие даже у нас представляют себе чем-то ничтожным, недостойным людей, имеющих счастье жить в просвещенный девятнадцатый век, имел для России, даже с исключительно политической точки зрения, гораздо более важности, чем какой-нибудь вопрос о границах, спор о более или менее обширной области; со стороны Франции был он, конечно, не более как орудием для возбуждения вражды и нарушения мира. Так понимало в то время это дело само английское правительство.

На справедливое требование России турецкое правительство отвечало обещанием издать фирман, подтверждающий все права, коими искони пользовалась православная церковь, — фирман, который долженствовал быть публично прочитан в Иерусалиме. Это обещание не было исполнено; обещанный фирман не был прочитан, хотя этого чтения ожидало все тамошнее православное население. Россия была недостойным образом обманута, правительство ее выставлено в смешном и жалком виде бессилия, между тем как все требования Франции были торжественно выполнены. Что оставалось делать после этого? Могла ли Россия довольствоваться обещаниями Турции, могла ли давать им малейшую веру? Не говоря уже о нанесенном ей оскорблении, не должна ли была она думать, что Турция после столь счастливого начала, так благополучно сошедшего ей с рук, могла, когда ей только вздумается, отнимать одно за другим права православной церкви, чтобы показать несчастным последователям ее тщету всякой надежды на Россию? Могла ли Россия не видеть, какое поприще открывалось для интриг латинства, которое умело ценить

полученные им выгоды и, конечно, на них бы не остановилось. Чтобы предупредить это, оставалось одно средство: вытребовать у Турции положительное обязательство, выраженное в форме какого-либо дипломатического договора, что все права, которыми пользовалась доселе православная церковь, будут навсегда сохранены за нею. Можно ли было требовать меньшего, когда эти права только что были нарушены, а обещание восстановить их фирманом не исполнено? Не самая ли натуральная вещь требовать формального обязательства или контракта от того, кто показал, что его слову, его простому обещанию нельзя давать веры? Требование Россией этого формального обязательства назвали требованием покровительства над православною церковию в Турецкой империи и нарушением верховных прав этой последней. Конечно, это было требование покровительства; но что же было в этом нового и странного, чтобы возбудить такое всеобщее против России негодование? Уже около 80 лет, именно с 1774 года, Россия имела формальное, выраженное в трактате право на такое покровительство; требовалось только более ясное и точное определение его. Фактическое же право покровительства, проистекающее не из трактатов, а из сущности вещей, Россия имела всегда и всегда им пользовалась с тех пор, как сделалась достаточно для того сильною. Такое фактическое право имели спокон века все государства, когда чувствовали, что какое-либо дорогое для них дело терпело притеснение в иностранном государстве. Так протестантские государства нередко покровительствовали протестантскому вероисповеданию в католических государствах. Так Россия и Пруссия оказывали покровительство диссидентам, православным и протестантам, угнетаемым в бывшем королевстве Польском. Так, уже после Восточной войны¹, Франция оказала даже вооружен-

¹ *Восточная война* — другое название Крымской войны 1853–1856 годов. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, — примеч. ред.)

ное покровительство сирийским христианам. И не в одном религиозном отношении оказывалось такое покровительство. Не сочли ли себя Англия и Франция вправе покровительствовать всем вообще неаполитанским подданным, по их мнению (впрочем, совершенно справедливому) жестоко и деспотически управляемым, и требовать от неаполитанского короля улучшения в способе и форме его управления? Не покровительствовала ли Франция бельгийцам, восставшим против Голландии? Если, таким образом, покровительство дорогим для одного государства интересам, угнетаемым в другом, всегда фактически существовало и, несмотря ни на какую теорию невмешательства, всегда будет существовать (как основанное на самой сущности вещей), то что же ужасного и оскорбительного в том, ежели это естественное право покровительства получает формальное выражение в трактате? Римский двор заключает конкордаты с католическими и даже с не католическими государствами, которыми выговаривает дипломатическим путем известные права для католической церкви в этих державах, и такие конкордаты не считаются, однако же, нарушениями верховенства этих государств. Вестфальским миром заключившие его государства обязались друг перед другом не стеснять прав своих подданных, не принадлежащих к господствующей в них религии. Иногда это постановление не исполнялось католическими державами; протестанты вмешивались в это дело и вынуждали исполнение трактата. Так, Фридрих-Вильгельм, отец Фридриха Великого, два раза оказал весьма действительное покровительство угнетенным протестантам в Зальцбурге. Правда, что в Вестфальском договоре обязательство было взаимное; но в отношениях России к Турции в этой взаимности не было никакой надобности, ибо магометанские подданные России никогда никаких притеснений не терпели. Конечно, на трактатах основанное право чужеземного покровительства над частью подданных другого государства не может быть для него прият-

но; но что же делать, если оно служит только выражением действительно существующей потребности? Единственное средство избежать этой неприятности — уничтожить самый факт, обуславливающий необходимость иностранного покровительства; пока же самый факт будет существовать, то неосвящение покровительства формальностью договора несколько сущности дела не изменяет. Можно даже сказать, что через такое формальное признание права покровительства и вмешательства, в ясно определенных случаях, уменьшаются шансы к фактическому применению этого права. В самом деле, разве Россия в 1853 году и без дипломатической ноты, и вообще без всякого определительного дипломатического договора, которого она стала себе требовать в этом году — что будто бы так напугало Европу, — не вмешалась в дела Турции, не приняла на себя покровительства православной церкви? А наоборот, если бы такой положительный, ясный и определительный договор существовал до того времени, то не воспрепятствовал ли бы он Турции в ее враждебном к большинству ее же подданных поступке и тем не отклонил ли бы фактического вмешательства России? Но какие бы кто ни имел понятия о допустимости или недопустимости договоров, дающих одному государству формальное право на покровительство части подданных другого государства — право, которое и без договора фактически всегда существует, — одно останется несомненным, что договор, выраженный в точных и определенных выражениях, всегда предпочтительнее договора, дающего место неопределенным толкованиям, договора, вводящего одну сторону в соблазн уменьшать принятые ею на себя обязательства, а другую — преувеличивать свои права. В настоящем случае дело и шло именно только о такой замене одного договора другим, чтобы предупредить на будущее время подобные столкновения и необходимость фактического вмешательства. Если подобные договоры нарушают

верховенство государства, то нарушение это было уже сделано 80 лет тому назад; теперь ему придавалась только безвредная форма. Все, о чем можно было толковать, состояло, следовательно, только в том, чтобы принятая форма была вместе с этим и самая безобидная, наиболее удовлетворяющая щепетильной заботливости европейских государств о достоинстве Турции, а в этом отношении уступчивости России не было пределов. Она не действовала нахрапом, как германские союзники против Дании, и, когда великие европейские державы предложили свое посредничество, она приняла его, предоставив их благоусмотрению определение выражений, в которых Турция должна была удовлетворить ее требованиям. Сама зачинщица дела — Франция — составила проект ноты; дипломатические представители великих европейских держав одобрили и приняли его. Так составила знаменитая Венская нота. Россия, признав посредничество держав, безусловно приняла решение посредников. Казалось бы, дело кончено. Если и могли прежде, основательно или неосновательно, предполагать со стороны России честолюбивые намерения, она, видимо, отказывалась от них, принимая решение коллективной дипломатической мудрости Европы. Ясное дело, что намерение ее ограничивалось получением, во-первых, удовлетворения за нарушение прав ее единоверцев, естественной покровительницей которых, по самой сущности вещей, она всегда была, есть и будет, по трактатам или без них; во-вторых, обязательства, выраженного, хотя бы в самой деликатной для турецкого самолюбия форме, в том, что впредь таких нарушений не будет. И что же, Турция отвергает эту составленную четырьмя великими державами и принятую Россией ноту, делая в ней такие изменения, которые лишают ее всякого значения и обязательного смысла. Самый факт изменения ноты был уже знаком неуважения, и не к одной России, но и к прочим четырем державам, если только они сами

серьезно смотрели на свое дело, а не видели в нем ловушки, в которую надеялись поймать Россию, думая, что она не примет предложенного ими текста и что тогда можно будет обвинять ее сколько угодно в задних мыслях и тайных честолюбивых замыслах и, умывая руки, взвалить на нее всю ответственность за последствия. Турция, неизвестно откуда, набирается духу объявить России войну и находит себе между подписавшими Венскую ноту двух явных и одного тайного союзника; только четвертый остается нейтральным зрителем.

Политические страсти удивительно как отуманивают ум: самое прямое и бесспорное дело становится сомнительным и извращается в глазах пристрастного судьи. Попытаемся же перевести этот неслыханный образ действий из сферы политической в сферу частных отношений. Некто, считающий себя оскорбленным, требует удовлетворения от оскорбителя; во внимание к общим друзьям делает он уступку за уступкой в форме требуемой им сатисфакции, наконец соглашается предоставить все решению самих этих друзей — третейскому суду чести, как это, например, водится между военными и студентами; соглашается, несмотря на уверенность в том, что друзья эти большею частью ложные друзья, что один из них был даже подстрекателем в нанесенном ему оскорблении. Так убежден он в правоте своего дела. Друзья постановляют решение — заметьте: решение, предложенное самим подстрекателем, — и оскорбленный безусловно ему покоряется, считает его вполне для себя достаточным. Прибавим к этому, что оскорбленный, как не раз доказал, отлично владеет оружием, оскорбитель же плоховат в этом деле; тем не менее этот последний воодушевляется неожиданною храбростью, отвергает решение принятых им прежде посредников и вызывает своего противника на дуэль.

Друзья, конечно, приходят в негодование, объявляют себя сторонниками вызванного и настаивают на том,

чтобы ему было сделано удовлетворение, признанное ими всеми за справедливое, — принуждают к этому так не к месту расхрабрившегося господина или, по крайней мере, оставляют поединщиков расправляться друг с другом, как сами знают? Ничуть не бывало; оказывается, что у друзей какие-то странные понятия о чести и справедливости. Расхрабрившийся, изволите ли видеть, куда какой плохой воитель, не справиться ему никак с вызванным им противником — это ясно, как дважды два четыре. Ну а долг рыцарской чести стоять за слабых и защищать от нападения сильных, да и неожиданный задор взялся ведь у него неоткуда, как от их же рыцарских нашептываний; честь, следовательно, велит стоять за него грудью. Так решают двое из друзей. Но ведь нужен же для этого какой-нибудь резон; а если не резон, то, по крайней мере, хоть предлог, и предлог, по обыкновению, находится, конечно, столь же странный, как и вся эта история. Оскорбленный и вызванный, из уважения ли к друзьям, по добродушию что ли, или уж так, бог его знает почему, предлагает противнику такие условия боя: «Ты, брат, я знаю, плохо драться умеешь, так вот тебе что: если нападешь на меня, буду защищаться; повезет тебе — хорошо, твое счастье; а чуть неустойка, уходи за эту черту, и я уже за ней тронуть тебя не смею; беру в этом всех друзей в свидетели и поруки». Умно ли это или нет, уж не знаю; но зато великодушно в высшей степени, из рук вон как великодушно. Однако двум друзьям, подстрекателю и другому, и этого показалось мало: «Черта чертой — это хорошо, только ты еще руку и ногу дай себе связать, и стой на одной ноге, и одной только рукой дерись, а мы любоваться будем, как ты фокусы эти будешь выкидывать. Если же нет, то втроем на тебя нападем». Руки и ноги не дал себе связать великодушный воитель — ну и предлог, слава тебе господи, нашелся; а то куда в каких затруднениях были оба друга: драться — смерть как хочется, а драться не за что. Уговаривали они и третьего заодно с ними драться,

да этому напрямик в драку лезть чересчур уж непристойно было: не дальше как пять лет тому назад обижаемый его из воды, что ли, или из огня вытащил, когда тот уже совсем было захлебывался или дымом задышался, — одним словом, жизнь спас. Он и поднимается на хитрость. «Место, — говорит, — где вы драться думаете, у меня под боком; вашей дракой вы мешать мне будете; я пока займу его, а вы деритесь где знаете. Правда, место для тебя будет очень неудобно: и ветер, и солнце прямо в глаза тебе; из него нападать нельзя будет, только защищаться с грехом пополам; ну, да это уж твое дело; если ж не хочешь, то, пока те трое спереди нападать на тебя будут, я сзади за шиворот схвачу». Только четвертый отошел себе в сторону. «Моя, — говорит, — хата с краю, я ничего не знаю».

Как стали бы мы, спрашиваю, судить о подобных поступках? А в этой притче нет ни малейшего преувеличения или карикатуры, только простая перефразировка: суд чести — Венская конференция; черта — Дунай; рука и нога, которым надлежало быть связанными, — флот, которым Россия не должна была препятствовать подвозу оружия черкесам, и т. д. Разве, в самом деле, не Синопское сражение послужило более нежели странным предлогом к объявлению войны морскими державами? Разве Австрия не требовала очищения и нейтралитета Дунайских княжеств, подвергая тем Россию ударам ее врагов и лишая ее возможности самой наносить их, заставляя вместо сухопутной вести морскую войну? Кто же тут, спрашивается, оскорбленный и обиженный? Не до очевидности ли ясно, что войны с Россией искали во что бы то ни стало? Не Франция ли с самого начала нарушила своими неумеренными требованиями мир между соперничающими церквями и заставила Россию вступить за своих единоверцев? Не Турция ли после сего обманула Россию, не сдержав данного обещания о фирмане? Не Франция ли опять, придвинув свой флот к Дарданеллам, вынудила Россию к занятию Дунай-

ских княжеств? Затем, когда Россия согласилась предоставить решение спора посредничеству четырех великих держав и безусловно приняла предложенный ими текст ноты, не западные ли державы, а преимущественно не Англия ли через своего посланника, постоянно враждебного России лорда Редклифа, подстрекнула Турцию не принимать ее и — чтобы разом покончить с дипломатией, посредством которой никак не удавалось выставить Россию зачинщицей дела, — прямо объявить ей войну?

Есть ли, в самом деле, малейшая возможность думать, чтобы Турция решилась пренебречь мнением всей Европы и, отвергнув его, объявить войну России при убеждении, что предложенная ей нота составляла не ловушку, а действительное, честно выраженное мнение Европы, и без подстрекательства обещанием самой деятельной помощи? Наконец, не дики ли требования западных держав, чтобы Россия, будучи в войне с Турцией, спокойно смотрела на то, как будут подвозить оружие и вообще помогать черкесам, и употребляла для своей защиты одну лишь армию, но никак не флот? Не эти ли нелепые требования, по необходимости ею отвергнутые, послужили предлогом к войне? Что же сказать еще о требованиях Австрии, которая, выгораживая Турцию, вносит войну в пределы самой России? Что сказать, наконец, о Сардинии, так себе, здорово живешь, ни с того ни с сего объявляющей войну России не только уж без причины, но даже и без малейшей тени предлога? Неужели все это не показывает какого-то озлобления, какой-то решимости пренебречь всем, лишь бы только удовлетворить своему желанию унижить Россию, когда к тому представляется наконец благоприятный, по-видимому, случай? Все это становится особенно любопытным, если сравнить такое озлобление против России с той снисходительностью, которая была оказана к действиям Пруссии и Австрии относительно Дании. И если бы еще можно было отнести это к макиавеллизму дворов